

«ТРЕТЬЕ» СОСТОЯНИЕ (1989)¹

Начать мне хотелось бы с определения характера нашего социального мышления, под которым я подразумеваю не деятельность в профессиональных департаментах социальных наук, а социальное мышление людей в их повседневной жизни. Иными словами, состояние общегражданской грамотности. Говоря коротко и прямо, состояние это на сегодняшний день просто чудовищное. Но другим, видимо, оно и не могло быть. Народ, который выскочил из истории и жизни (я имею в виду все народы, населяющие российское пространство), не мог не оказаться в итоге больным. Больны сами люди. И это видно по тому, как они реагируют на происходящие события, на самих себя, на власть, на окружающий мир. Очевидно, что мы имеем дело здесь с дезорганизованным, заблудшим, одичавшим сознанием, которое представить себе можно лишь в фантазмагоричных образах, например как если бы волосы на голове человека росли не наружу, а внутрь. Вообразите себе эти дикие заросли, в которых все спуталось, где одна половина мысли никогда не может найти другую, чтобы создать целую, законченную, законопорожденную мысль... Люди по-прежнему жаждут крови, по-прежнему везде видят вредителей, а это значит, что они фактически находятся в том взвешенном состоянии, когда любая мутация, любой толчок могут выбросить их в кристалл, который мы называем тридцать седьмым годом. И видимо, мы не сможем очистить или позволить

¹ Впервые опубликовано в: Киносценарии. 1989. № 3. С. 182–186. — *Прим. ред.*

выздороветь такому сознанию, если как профессионалы будем продолжать употреблять такие дубовые, уродливые слова, как «ошибки», «отклонения», «необоснованные репрессии» (как будто бывают обоснованные?!), «ложный навет», «перегибы» и так далее. Это бессмысленный набор слов, который, однако, роковым образом означает, что, находясь во всех этих благочестивых, добронамеренных состояниях, в которых оперируют подобными словами, мы не можем раз и навсегда извлечь смысл из того, что с нами произошло, что мы сами испытали. Поэтому страдания, обиженная чувствительность, стоящие за такими словами, будут длиться вечно. И каждый раз, когда мы будем оценивать какие-то события, мы будем снова и снова говорить о том, что это насилие, произвол и так далее. Еще Салтыков-Щедрин в свое время заметил, что русские люди (если угодно, российские люди) готовы вечно страдать, как бы считая, что здесь, в России, хорошо, потому что тут больше страдают. Но в метафизическом смысле, в том смысле, как устроен мир, не бывает страданий во множественном числе, как и не бывает смерти во множественном числе. Если страдают действительно, то делают это один раз, в одном экземпляре. Это единственный путь, на котором можно извлечь хоть какой-то смысл из пережитого. Извлечь раз и навсегда, чтобы в историческое существование вошло то, что уже однажды испытано. Страдающий многократно, постоянно возвращается в царство теней, обрекает себя на круговерти, где несовершенное деяние, непрожеванный кусок истины вечно тащится потоком нашей жизни и сознания.

Я не случайно делаю такой акцент на «словах». Ведь проблема больного сознания — это еще и языковая проблема. Мы живем в пространстве, в котором накоплена чудовищная масса отходов производства мысли и языка. Пространство это предельно замусорено побочными, вторичными продуктами нормальной мыслительной и духовной деятельности, мифологизированными их осколками. Поэтому, даже когда мы хотим мыслить, когда есть позыв, побуждение мысли, у нас ничего не получается. Что-то уже нарушено в самом языке, в его основании.

Но прежде чем приступить к выяснению причин этой болезни, мне хотелось бы предупредить читателя об особенностях восприятия данного текста. Дело в том, что профессиональное по своей сути философское мышление должно оперировать более крупными единицами времени и пространства. Логика его такова: чтобы извлечь смысл из сегодняшнего дня, нужно мыслить крупными единицами, которые захватывают и связывают XX век, например, с XVIII; мыслить в терминах долгодействующих, так сказать, сквозных сил российской, например, истории. А для этого их надо хотя бы выявить, установить действительную временную и пространственную размерность нашей (возможной) мысли о событиях этой истории. Только в этом случае мы сможем увидеть, к примеру, что та сумма проблем, о которых мы так много сегодня говорим, в действительности может быть сведена к одной — проблеме гражданского общества.

Если коротко, то суть ее состоит в расщеплении, разрыве жесткой спайки государства и общества, в развитии самостоятельного общественного элемента, который, с одной стороны, являлся бы естественной границей власти, а с другой — не подпирался бы никакими государственными гарантиями и никаким иждивенчеством. Но эта проблема самого начала Нового времени, до-буржуазного или до-естественно-правового состояния общества. И для того чтобы убедиться в том, что это и есть наше сегодняшнее состояние, вовсе не нужно искать каких-то особых доказательств. Достаточно вернуться в плоскость языковой проблемы.

Приведу очень простой элемент догражданственности в нашем сознании. Мы, например, говорим — «общественный труд» и при этом сразу же подразумеваем отличие общественного труда от индивидуального. Мы рассуждаем примерно так: сперва нужно поработать на общество, а уже потом на себя. Но это и есть та самая «спайка» сознания, то «кривляющееся слово», через которое проговаривается помимо нашей воли нечто совершенно другое, а именно что труд наш есть труд барщины, поденщины, где мы лишь отрабатываем. Но это и есть

ситуация, отличная от самого начала Нового времени, от возникшего новоевропейского общества и культуры. Просвещение уже ничего подобного не знает. Просвещенное состояние человечества отвечает той стадии развития, когда труд осуществляется свободными производителями, вступающими между собой и с нанимателями в договорные отношения. И тут никаких различий между трудом на себя и трудом на общество быть не может. А если они возникают, то это отражает существующее в действительности крепостное состояние экономической материи, что в наше время воспринимается как полнейший абсурд. Но опять же нельзя забывать о том историко-культурном контексте, в котором мы находимся.

В свое время у Пушкина возник спор с Чаадаевым, который первым в нашу философскую традицию ввел оппозицию между «историческими» и «неисторическими» образованиями. Чаадаев имел при этом в виду характеристику России как социально-культурного феномена. Пытаясь определить его, он столкнулся с довольно странной вещью, которую я бы назвал «неописуемостью». В том смысле, что есть вещи, которые можно описать, а есть нечто, что не поддается описанию. Таким загадочным феноменом и стала для Чаадаева Россия.

В самом деле, «говорят про Россию, что она не принадлежит ни к Европе, ни к Азии, — пишет Чаадаев, — что это особый мир. Пусть будет так. Но надо еще доказать, что человечество, помимо двух своих сторон, определяемых словами — запад и восток, обладает еще третьей стороной», которой в действительности нет. Да и быть не может. Этот момент очень точно схвачен в нашем языке. Мы говорим — «с одной стороны» и «с другой стороны». И никогда не скажем — «с третьей стороны».

Если мы теперь соединим это с другими наблюдениями Чаадаева, с нашим собственным опытом, то поймем, что в реальности «третьей стороны» быть не может. Но она может быть в ирреальности. В зеркальном мире.

Для Чаадаева, очевидно, Россия и была такой неописуемой страной из зазеркалья. Не случайно он называл ее «пробелом в понимании», то есть чем-то, чего нет

в историческом мире членораздельных форм, устоев, традиций, внятной артикуляции. Пушкин возражал против этого, но фактически собственной жизнью подтверждал верность этой мысли. Ведь это он чуть ли не собственноручно пытался создать в России традицию, устои Дома, Семьи. А в ирреальном мире за это приходится платить своей жизнью. Ведь понятия, которыми там пользуются люди, фантазмагоричны. Они есть порождение больного, одичавшего сознания. Одним из первых это, кстати, понял Гоголь. Именно он развил специальную технику литературного описания этих потусторонностей. И в этом смысле действительно вся русская литература вышла из «Шинели» Гоголя. Еще Набоков, который сам был чувствителен к теме потусторонностей, отмечал: «...ну какой же Чичиков плут? Предмет плутовства его ирреален». Он так же неопишуем, как современный московский или грузинский миллионер. Попробуйте его художественно-типологически описать, как, скажем, Гобсека, Шейлока или какого-нибудь Руггон-Маккара. У вас ничего не получится, потому что предмет его стремлений так же ирреален, как ирреальны советские деньги.

В самом начале XX века в спор Пушкина и Чаадаева включился Осип Мандельштам — один из немногих поэтов в русской современной традиции с ярко выраженным историософским и метафизическим складом ума. Соглашаясь во многом с Чаадаевым, он в то же время утверждал, что Россия все-таки «историческое образование», потому что здесь есть как минимум одна органическая структура, стоящая на собственных ногах, живущая по собственным законам, имеющая свои традиции и устои. Это русский язык.

Но весь трагизм ситуации состоял в том, что мысль Мандельштама была высказана в тот момент, когда уже начался процесс выпадения именно языка из нашей истории, когда стало сбываться предчувствие Блока о возможности разрушения самих внутренних истоков гармонии, а не просто варварского обращения с их внешними продуктами. Мандельштам это тоже понимал. Весь его спор с Чаадаевым оговорен одной странной фразой о том,

что если мы уж и от языка отпадем, то окончательно рухнем в пропасть нигилизма. Так оно и произошло. Но интересно тут и другое. Именно в этом историческом пункте, на краю пропасти, в России, вопреки всему, появились люди, которые продолжали уже существовавшую литературную традицию. Я имею в виду прежде всего Зощенко, Заболоцкого, Платонова. Они первыми стали описывать странных людей, говорящих на «языке оправданий», на языке человеческого существа, выведенного Булгаковым в повести «Собачье сердце».

Язык этот состоит из каких-то потусторонних неподвижных блоков, представляющих собой раковые образования. В самом деле, ну как можно мыслить, например, такими словосочетаниями: «овощной конвейер страны»? За этим языковым монстром сразу возникает образ этаких мускулистых, плакатных молодцов у конвейера. Увидеть же или помыслить о том, что в этот момент происходит с овощами, решительно невозможно. Вы сразу как бы попадаете в магнитное поле и несетесь по нему в направлении, заданном его силовыми линиями.

Я здесь сознательно отвлекаюсь от социальных проблем. Меня интересуют мыслительный механизм и состояние языка, в котором уже все есть. Остается только эту языковую наличность успевать прочувствовать, успевать вписывать в нее свои чувства и мысли. Сознание такого рода очень напоминает комнату, в которой вместо окон сплошные зеркала, и вы видите не внешний мир, а собственное изображение. Причем отвечающее не тому, какой вы есть, а тому, каким вы должны быть. Любая искорка сознания может закапсулироваться в этих отражениях и обезуметь. И человек с таким сознанием может хотеть только одного — взорвать себя, то есть покончить с собой и одновременно со всем миром. Ведь зло человеческого сердца — это ненависть к чему-то непосильному в самом себе. И только потом она проецируется на внешний мир.

Нечто очень похожее случилось и с философским языком. Возьмите в руки любой учебник по марксистской философии, и вы увидите, что весь он состоит из таких

же потусторонностей. Их невозможно привести в движение. Ими нельзя профессионально оперировать. Они не поддаются никакому развитию мыслью. А складывался этот язык по законам достаточно простого механизма.

Представьте себе социал-демократический кружок, где «ученый человек» должен вместиť в головы слушателей весь мир со всеми его сложнейшими проблемами и составом. Причем вместиť так, чтобы голова слушателя не подвергалась усилию труда, чтобы ей не пришлось напрягаться, думать, мучиться. Сделать это можно было лишь одним средством — сведя всю сложность мира к простым схемам. Например, таким: «Почему есть бедные? — Бедные есть потому, что есть богатые. — Как сделать, чтобы не было бедных? — Нужно уничтожить богатых».

Я хочу обратить внимание читателя не на само сомнительное содержание этого утверждения, а на то, с чем оно соединяется в сознании слушателя и что в конечном счете порождает. Во-первых, оно отнимает у человека потребность в самостоятельном труде, то есть внушает ему, что мысль — это то, для овладения чем не требуется приложения никаких усилий ума, а достаточно лишь услышать, прочитать. Во-вторых, существует механизм уважения человека к самому себе. Кроме властной потребности быть, состояться, или пребыť, как говорят философы, у него еще есть потребность понимать. Человек в принципе не может жить в мире, который ему непонятен. Но принцип этого понимания всегда сращивается с фундаментальным отношением человека к самому себе и в смысле способности идентифицировать себя и способности уважать себя. Если же он достигает степени самоуважения посредством упрощенных схем, то он скорее убьет того, кто покусится разрушить эти схемы, чем расстанется с ними. Это должно быть понятно, потому что его упрощенное понимание сложного мира уже слепилось с фундаментальным для любого человека вопросом жизни и смерти.

Теперь представьте, что мы пытаемся освободиться от этого «философского» языка, хотим научиться мыслить и выставляем в противовес Сталину таких мыслителей, как Плеханов, Бухарин, Луначарский, или кого-то другого. Но

из этого ничего не получится. Уровень этих мыслителей ничтожен. Ведь нужно было сначала сравнить вокруг себя горы гуманитарной мысли в России, чтобы на освободившемся пространстве такие люди выглядели монбланами философской мысли. Их тексты не просто чудовищно скучны, но еще и написаны совершенно деревянным, мертвым языком. Они изначально исключают живую, свободную мысль. Поэтому, возвращаясь к нашей теме, скажу, что без разрешения задачи по очищению языкового пространства вообще и философского в частности мы дальше никуда не двинемся. Ведь мы постоянно живем в ситуации, которую одной фразой очень точно описал Платонов. Один из его героев вместо «голоса души» слышит «шум сознания», льющийся из репродуктора. Каждый из нас на собственный страх и риск, в своем конкретном деле, внутри себя должен как-то противостоять этому «шуму». Ибо, как я уже говорил, человек с одичавшим сознанием, с упрощенными представлениями о социальной реальности и ее законах не может жить в XX веке. Он становится опасным уже не только для самого себя, но и для всего мира. А мы сегодня говорим о том, что необходимо заботиться о нашем общем европейском доме. Но для этого, как минимум, вначале нужно восстановить свое членство в этом доме. Основная задача, которая стоит перед социальным мышлением, перед гражданами Советского Союза, — это воссоединение со своей родиной, которая необратимо является европейской судьбой для России. Правда, мы реализовали пока «третью» сторону, фантазмагоричную, поэтому проблема «гражданского общества» надолго выпала из поля нашего зрения.

Выше я уже говорил, что суть проблемы «гражданского общества» состоит в расщеплении спайки государства и общества, в развитии самостоятельного общественного элемента. Отвлекаясь от социальных и экономических теорий, попытаюсь в этой связи пояснить смысл принципиального в любом гражданском обществе слова «частный».

Дело в том, что европейская культура есть прежде всего христианская культура, и она совершенно не зави-

сит от того, сколько людей ходит в церковь и выполняет конфессиональный или церковный ритуал. Речь идет о том, что христианство проникло во все институции европейского гражданского общества и существует, уже кристаллизовано в них.

Сама же идея христианской культуры фундаментальна и проста. Эта культура принадлежит людям, которые способны в частном деле воплощать бесконечное и Божественное. Говоря «частное», я имею в виду дело сапожника, купца, рабочего и так далее. В противоположной культурной ситуации вы имеете дело с феноменом, суть которого состоит в фантастическом безразличии человека к собственному делу. Почему это происходит? Потому что любое дело никогда не совпадает с некой мистической абсолютной и бесконечной точкой. То, что я делаю, не имеет, согласно этой схеме, никакого значения, поэтому я могу быть подлым сегодня, чтобы стать безупречным завтра. А для европейской культуры нет никакого завтра. Есть только то, что есть сейчас, внутри конкретно оформленного, выполненного дела. Отсюда, кстати, некоторые социологи даже пытаются как бы перевернуть экономическую теорию и во главу угла поставить факт религиозного сознания. Я не разделяю этой точки зрения, но, чтобы проиллюстрировать такой ход мысли, приведу один пример.

Существует известная теория Макса Вебера, который само появление феномена капитализма связывал с тем, что он называл «протестантской этикой». Он считал, что для развития капитализма нужно было, чтобы акт, например, торговли, то есть частного дела, стал носителем каких-то очень высоких ценностей, в том числе взаимоотношений с Богом, ответственности и так далее. Когда это случается, появляется, по его мнению, класс капиталистов, предпринимателей, купцов, появляются и такие слова, как «бюргер», «частный человек» и прочие. В русском языке есть аналог этому — «мещанин». Именно в этом смысле его использовал в своем знаменитом стихотворении Пушкин. Но для нас слова «бюргер», «буржуа», «мещанин» и так далее давно стали символом пошлости, обывательщины и прочего.

Повторяю, я не считаю веберовскую теорию верной в отношении анализа причин возникновения капитализма. У меня к ней есть свои претензии. Но ход его мысли в данном случае весьма показателен и многое говорит именно о действительном характере европейской христианской культуры. Если же мы обратимся теперь к России начала XX века, то увидим, что сознание ее людей отнюдь не было глубоко затронуто Евангелием. Еще Розанов в свое время отмечал распространение в стране на волне первой революции «живых Христов» и «живых Богородиц», что совершенно невозможно ни в каком грамотном религиозном сознании. Тут всем движут другие силы. «Говоря о России, — писал Чаадаев, — постоянно воображают, будто говорят о таком же государстве, как и другие; на самом деле это совсем не так. Россия — целый мир, покорный воле, произволению, фантазии одного человека, — именуется ли он Петром или Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково это — олицетворение произвола». Иными словами, Чаадаев как мыслитель, я думаю, тоже бы считал, если участвовал в современных дискуссиях, что никакого сталинизма не существовало, что это выдумка, посредством которой невозможно помыслить то, что мы называем этим словом. На самом деле Сталин — это продукт миллионов «самовластий», вернее, их сфокусированное отражение. Об этом, кстати, он и сам говорил, признаваясь, что партия создала его по своему образу и подобию. Миллионы «Сталиных» — это социальная реальность, в которой живет масса властителей. Это и есть то, что Чаадаев назвал «олицетворением произвола». Мы сейчас пытаемся вычлени из того времени что-то вроде интеллектуальной, партийной и даже духовной «оппозиции». Но в действительности ее не было. Да и быть не могло. Просто тот же Бухарин немножко детонировал с тем образом, который миллионы «самовластий» относили к себе. Адекватным их сознанию оказался Сталин, поэтому он и стал тем, кем стал.

Но эта история еще не закончилась. Мы так и не научились пока извлекать смысл из пережитого. Иначе бы не говорили о культе Брежнева, которого в действи-

тельности тоже не существовало. Был «культ Брежнева», через который исполнялся ритуальный танец и определенная группа лиц занималась собственным восхвалением. Через него они говорили о себе, о своем авторитете, о своей силе и так далее.

Закончить эти размышления мне хотелось бы по-прежнему актуальной для нас мыслью Чаадаева, которой он завершает приведенное выше рассуждение о том, что Россия не является просто государством в ряду других государств. «В противоположность всем законам человеческого общежития, — пишет Чаадаев, — Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И поэтому было бы полезно не только в интересах других народов, а в ее собственных интересах — заставить ее перейти на новые пути».

Когда-то эта задача уже начала решаться, но мы отклонились в сторону и одичали. Теперь, если мы хотим действительно спасти или участвовать в спасении цивилизации на Земле, если мы хотим вернуться в свой европейский дом и иметь право говорить о нем в роли защитников, нам нужно самим стать сначала цивилизованными — более цивилизованными или просто цивилизованными людьми, то есть перейти на другие, новые пути.